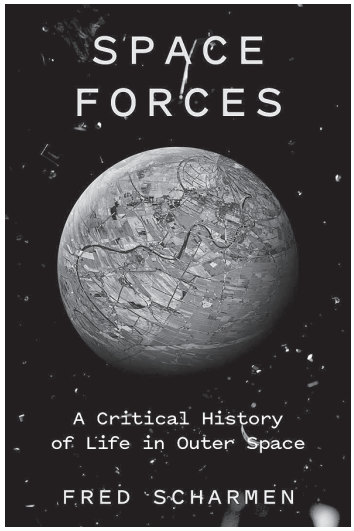
Рецензии

Space Forces: A Critical History of Life in Outer Space
Fred Scharmen
London: Verso, 2021. – 272 p.



Необщее дело

В 2021 году в издательстве «Verso» вышла вторая книга Фреда Шармена «Космические силы: критическая история жизни в космосе». Шармен – дизайнер и теоретик архитектуры, профессор Государственного университета Моргана (Балтимор, Мэриленд). Первая книга автора – «Космические поселения» (2019) – была посвящена утопическим архитектурным проектам космического века[1], таким, например, как «цилиндр О'Нила» – огромный вращающийся механизм на орбите Земли или других планет, придуманный американским инженером Джерардом О'Нилом. Внутри цилиндра, по задумке, должны располагаться цветущие города с гравитацией, получаемой за счет вращения. Судя по всему, после работы над первой книгой у автора осталось много разрозненных материалов про космические утопии, которые и легли в основу рецензируемого издания.

Название содержит своего рода языковую игру. Выражение «космические силы» (*space forces*) недавно было у всех на слуху в связи с новостной повесткой: в конце 2019 года Дональд Трамп распорядился создать новый род войск – United States Space Force. Эмблема космических сил подозрительно напоминала лого популярного сериала «Звездный путь», что породило множество мемов. Сама инициатива была спародирована в сериале «Космические силы» на «Netflix» в 2020 году. У Шармена в книге понятие силы используется и в более универсальном значении: это буквально физические и социальные силы, благодаря которым жизнь в космосе становится возможной. Это и силы архитектурных конструкций, соединяющие и разъединяющие людей, но также и силы самих людей, сообществ и движений, поддерживающих архитектурные конструкции космических станций, кораблей и поселений. При этом в словосочетании «критическая история», вынесенном в подзаголовок, первое слово отсылает не столько к прямолинейным политическим обличениям, сколько к выявлению условий возможности – в данном случае космической жизни – в кантианском смысле. Что касается понятия «жизнь» (*life*) в названии, то здесь автор тоже играет с многозначностью термина. Сегодня о жизни в космосе, как правило, говорится

1 Scharmen F. *Space Settlements*. New York: Columbia University Press, 2019.

в биологическом смысле. В то время, как последние несколько десятилетий ученые-астробиологи и фанаты изучения космоса ищут жизнь на Марсе, на спутнике Сатурна, Энцеладе, на экзопланетах, Шармен пытается выяснить, как возможна в космосе жизнь обычных людей – его интересует не биологическая, а социальная жизнь. Если эта игра с полисемичностью выражений в заглавии – продуманный маркетинговый ход со стороны автора, то нам, читателям, есть чему поучиться в изобретении привлекательных названий.

«Космические силы» состоят из выстроенных в хронологической последовательности эпизодов, посвященных знаковым для космического века именам и институциям: визионерам типа Константина Циолковского, Артура Кларка, Илона Маска и организациям типа НАСА или «SpaceX». В то же время автор открывает множество новых, неизвестных или неочевидных имен. Во-первых, Шармен исследует такую *hidden figure*, как Эдвард Эверетт Хейл – американский писатель, автор фантастической повести «Кирпичная луна» (1869), в которой он описал первую космическую станцию. Другой пример не очень известного персонажа – это архитектор НАСА, афроамериканец Джесси Стрикленд. Во-вторых, Шармен открывает для англоязычного читателя русских авторов-космистов: кроме Циолковского, он пишет о Николае Федорове, Александре Богданове и даже о братьях Стругацких (в тексте обосновывается принадлежность их произведений традиции космизма). Конечно, Шармен не первый, кто знакомит западную публику с наследием русского космизма. Благодаря Борису Гройсу, Антону Видокле и журналу «e-flux», это течение даже можно назвать в некоторой степени модным[2]. Однако Шармен идет дальше простой популяризации: он описывает особую «зону обмена» утопическими идеями между американскими и русскими космистами[3], которые устремляли свои мысли «от частиц до космоса» (p. 43), живо интересуясь покорением и трансформацией галактик, продлением жизни и бессмертием. Автор хотел бы доказать, что американские космисты читали русских, но в итоге все же склоняется к тому, что идеи возникали параллельно:

> «Кларк и Стругацкие, как Бернал и Богданов, скорее всего не знали о параллельных работах друг друга до тех пор, пока бóльшая их часть не была уже создана. Действительно, ни один из этих писателей не был широко переведен на язык другого до конца 1970-х и начала 1980-х. Таким образом, эти взаимосвязи… больше похожи на набор резонансов, чем на родословную» (p. 121–122).

В «Космических силах» Шармен обращает внимание на распространенное требование – «мы должны жить в космосе», – которое обычно не объясняется и считается чем-то само собой разумеющимся. Автор справедливо вопрошает: «Кто “мы”?». Действительно, считается, что все человечество, любой человек, буквально «каждый» как представитель космического вида должен стремиться в космос. Шармен на такое допущение замечает:

> «На Земле многие считают само собой разумеющимся существование “большого мы”: того, кто коллективно участвует в усилиях по освоению космоса или коллективно страдает от кризисов, подобных тем, что происходят с климатом. Это иллюзия, которая прикрывает неравное распределение вины, заслуг и последствий» (p. 7).

В этом смысле автор ставит под сомнение обязательность изучения и освоения

2 О понятии «зона обмена» см.: Галисон П. *Зона обмена: координация убеждений и действий* // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 1. С. 64–91.

3 См., например: Groys B. (Ed.). *Russian Cosmism*. London: MIT Press, 2018.

космоса как «общего дела» (термин Федорова). Более того, автор «Космических сил» смещает фокус на хрупкость, комплексность, децентрированность, ироничность, несуразность и случайность этого необщего дела в утопических проектах и попытках их реализации.

Можно иллюстрировать разные подходы к космосу на примере проектов космических станций, которые оказываются не просто домами, но и моделями социального устройства. Шармен анализирует стеклянные парники, которые описывал Циолковский и с помощью которых он планировал терраформировать Землю: изменить на ней климат, научиться пользоваться солнечной энергией[4]. При этом «туземцев» планировалось использовать как рабочую силу в экстремальных климатических условиях, потому что они приспособились, но при этом «не умеют пользоваться данным им раем и ведут жалкую нищенскую жизнь»[5].

Шармен анализирует также кирпичную луну – проект, описанный Эдвардом Хейлом[6]. В этой утопии группа энтузиастов, ученых и инженеров, пытается решить проблему морской навигации: запустить на орбиту Земли искусственную луну, которая могла бы служить постоянным ориентиром для моряков и рыбаков, не имевших дорогостоящих инструментов навигации. Запустить ее хотели с помощью двух маховиков, раскручивающихся течением реки. Луна была построена на народные деньги. Для придания жесткости архитекторы разделили ее на секции – отдельные «лунетки». В процессе строительства часть команды перебралась на луну со своими семьями и животными, чтобы жить там. Запуск кирпичного спутника оказался не запланированным, а случайным. Оставшимся внутри луны пришлось жить на орбите и связываться с Землей с помощью азбуки Морзе.

Автор «Космических сил» убедительно показывает, что стеклянные луны Циолковского оказываются универсализующим и колониальным проектом, уничтожающим разнообразие, а серия случайностей и перегородок-«лунеток» делает кирпичную луну жизнеспособным проектом, как раз поддерживающим разнообразие. Шармен заключает:

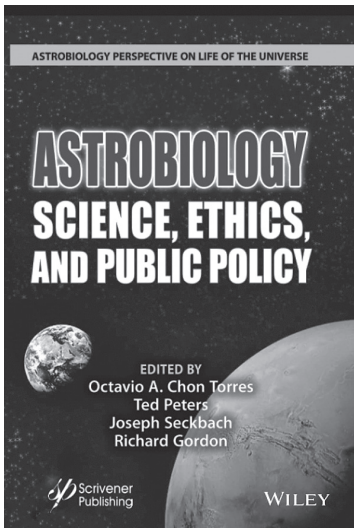
> «[В утопии Хейла] мы можем представить себе другой космизм – построенный на возможности случайности, катастрофы, разобщенности и автономии. Такой космизм утверждал бы императив общего досуга, а не общего дела – будущий космос кирпичных лун, а не стеклянных» (p. 39).

Для объяснения устройства утопий общего и необщего дела Шармен использует термин «тектоника», который он заимствует из архитектуры. Тектоника применима не только к зданиям, но и к организациям, и даже государствам; она показывает, «как силы разрешаются в пространстве и материале, чтобы создать и выразить отношения между частями и деталями, а также между частями и целым» (p. 29). Именно космический сопромат позволяет, анализируя множество сил, испытать космические утопии на прочность. При этом, тектонически анализируя возможности космических утопий, Шармен обращает внимание не только на силу воображения визионеров, но и на контекст их реальных практик. Так, чтобы понять, что Джефф Безос собирается делать в космосе, нужно узнать, как устроена созданная им платформа «Amazon» (p. 193–195). Пожалуй, и методологически, и как источник вдохновения эта техника анализа утопий выглядит как самая плодотворная и многообещающая в книге.

Денис Сивков

4 Циолковский К. *Будущее Земли и человечества*. Калуга, 1928.
5 Там же. С. 5.
6 Hale E.E. *The Brick Moon and Other Stories*. West Valley City: Waking Lion Press, 2006.

Astrobiology: Science, Ethics, and Public Policy
Octavio A. Chon Torres, Ted Peters, Joseph Seckbach, Richard Gordon (Eds.)
Beverly: Wiley-Scrivener, 2021. – 396 p.



Сегодня ученые точно знают, что за пределами Земли была жизнь. Известная часть истории этой «внеземной жизни» тривиальна. В апреле 2019 года космический аппарат, созданный компаниями «SpaceIL» и «Israel Aerospace Industry», с говорящим названием «Берешит», что можно перевести как «вначале» или «происхождение», разбился о поверхность Луны. Распавшись, он выпустил в атмосферу спутника Земли несколько сотен тихоходок, находящихся в состоянии криптобиоза. Способность этих «маленьких водяных медведей» выживать в самых экстремальных условиях – при крайне низких температурах и высоком уровне радиоактивного излучения, – теряя до 99% воды, хорошо известна. Что произошло с тихоходками после крушения «Берешита»? Могли ли они сохраниться на поверхности Луны? Есть ли у них перспективы вернуться к жизни и размножиться? Поиск ответов на эти провокационные, но при этом вполне научные вопросы составляют интерес астробиологии – науки о жизни в космосе.

Является ли астробиология наукой в привычном смысле этого слова? Критики отмечают, что биология должна работать с конкретными живыми существами. Поскольку сегодня никто не может предъявить образцы внеземной жизни, астробиологии часто отказывают в статусе научной дисциплины. Вместе с тем ее исследовательское поле парадоксальным образом растет: астрономы ищут планеты, потенциально пригодные для жизни; активисты SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземного разума) пытаются услышать голоса инопланетных цивилизаций; сторонники METI (Messaging to Extraterrestrial Intelligence – послания внеземному разуму) самостоятельно посылают сигналы в космос в надежде быть услышанными; колонизация Марса или освоение Луны – реальные научные и коммерческие проекты. Исходя из этого проблемное поле астробиологии может быть описано с помощью трех основных вопросов: как зарождается и развивается жизнь во Вселенной, существует ли жизнь за пределами Земли, каково будущее жизни на Земле и за ее пределами? (p. 3).

Необычный взгляд на эти вопросы представлен в сборнике «Astrobiology: Science, Ethics, and Public Policy». Среди 26 авторов – как независимых исследователей, так и академических ученых – теологи, философы, астрономы, биологи, историки, активисты. Несмотря на то, что такое разнообразие лишь подчеркивает существующие среди исследователей парадигмальные различия, всех авторов сборника объединяет стремление увидеть астробиологию как сформировавшуюся научную дисциплину.

Незавершенность концепта астробиологии заметна при обсуждении проектов учебных курсов, о чем в статье «Astrobiology Education: Inspiring Diverse Audiences with

the Search for Life in the Universe» пишет астроном из университета Аризоны Крис Аймпи. По его мнению, среди исследователей космоса интерес к возможным формам внеземной жизни был связан с рядом косвенных и, скорее, теоретических доказательств ее существования. Сегодня ожидания открытия жизни во Вселенной определяются технологическими инновациями. Речь прежде всего идет об использовании нового поколения наземных и космических телескопов, позволяющих изучать «спектры отраженного света от самых ярких из экзопланет», для обнаружения «биомаркеров» – признаков того, что атмосфера удаленных космических тел была подвергнута изменениям живыми организмами (p. 136–137). Оптимизм Аймпи не должен скрывать того, что технический прогресс и связанная с ним перспектива новых открытий способны всего лишь расширить список косвенных свидетельств, подтверждающих существование внеземной жизни.

Технические инновации обеспечивают астробиологию большим количеством данных, анализ которых требует координации усилий разных специалистов. Это приводит к тому, что «практики [в этой сфере] – в основном астрономы, но в ряды астробиологов также входят люди, получившие образование в области планетологии, геонаук, биологии и химии, а также небольшая когорта, привлеченная из философии, социологии и антропологии» (p. 137). Вследствие отсутствия общей методологии предмет астробиологии размывается, а сама она превращается в поиск внеземной жизни, который «резонирует с глубокими вопросами восприятия человеком своего места во Вселенной и этического выбора, который мы делаем, живя на Земле и размышляя о времени, когда мы будем жить вне Земли» (p. 152). Астробиология перестает быть только амбициозной попыткой исследования жизни во Вселенной, превращаясь в критический взгляд на Землю и землян.

Роль инструмента подобной рефлексии авторы сборника отводят астробиоэтике, чьи первые проекты появились в 2016 году на 35-м Международном геологическом конгрессе. Ее истоки в экологических движениях и попытках регуляции деятельности государств и частных компаний, ориентированных на освоение космоса. Теолог из университета Чикаго, Тед Питерс, в статье «Astroethics for Earthlings: Our Responsibility to the Galactic Commons» предлагает различать астроэтику и астробиоэтику. Первая, по его мнению, занимается широким кругом проблем, затрагивающих моральные вопросы исследования и освоения космоса; вторая обращена к проблеме внеземной жизни и ответственности людей перед ней. По мнению Питерса, «человек призван к заботе о жизни вследствие имеющейся у него власти» (p. 24). Условием сохранения жизни во Вселенной является формирование нового морального субъекта – галактического сообщества, – появление которого возможно в результате ориентации на общее благо, понимаемое как «создание условий для самореализации любого живого существа» (p. 26). Важно отметить, что категория «общего блага», отсылая к идее творения, в статье Питерса приобретает отчетливо религиозный характер.

Широко понимаемый креационизм предполагает единый замысел для всех живых существ, делая несущественными различия между земной и внеземной жизнью. Но обязательно ли они будут похожи? Джулиан Чела-Флорес – исследователь из Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама – в статье «Moral Philosophy for a Second Genesis» также обращается к понятию «творения», однако используя его скорее как метафору. По его мнению, существование жизни за пределами Земли может быть объяснено с точки зрения конвергентной эволюции, трактующей сходство представителей

разных видов как результат «приспособления к одинаковому образу жизни в экосистемах, сходных для обоих видов» (p. 66). Идею конвергентной эволюции можно рассматривать как теоретический аргумент в пользу идеи сходства земной и внеземной форм жизни. Однако из него же следует неожиданный этический вывод, заключающийся в том, что всякий биологический объект обречен на страдание. Таким образом, основанием для астробиоэтики должна быть не идея общего блага, а чувство сострадания.

Впрочем, идея сострадания предполагает достаточно пессимистичную оценку жизни и не разделяется всеми авторами сборника. Тони Миллиган – сотрудник факультета исследований теологии и религий Королевского Колледжа Лондона – в статье «The Ethics of Biocontamination» отмечает, что бóльшая часть этических теорий наделяет любую жизнь сакральным характером, предписывая ей абсолютную ценность саму по себе. Вместе с тем Миллиган подчеркивает, что люди редко действуют в рамках морального императива, предписывающего сохранение элементарной жизни на Земле, регулярно уничтожая сосуществующих с ними микробов. Не будет ли такое отношение экстраполироваться на формы жизни, открытые в космосе? Для ответа на этот вопрос Миллиган обращается к прагматистскому аргументу: «В случае с марсианскими микробами у нас будут причины для защиты, которых нет в отношении микробов на кухонной разделочной доске или в раковине в ванной» (p. 128). Защищаемое Миллиганом положение необычно: ценность космических микробов не является имманентной, но возникает в перспективе их пригодности для исследования.

Интерес Миллигана к микробам разделяет Чарльз Коккелл – профессор астробиологии из университета Эдинбурга. Обращаясь к аристотелевской этике добродетели, он показывает спекулятивный характер самой проблемы. Коккелл полагает, что освоение космоса не несет никаких угроз для жизни за пределами Земли. Уважение к микробам, а значит, и к любым биологическим объектам «проистекает из нашего (общечеловеческого) чувства собственного достоинства; многие люди считают, что бесцельное уничтожение или использование вещей в качестве средства для исполнения человеческих желаний – это плохая черта» (p. 245).

Статьи Миллигана и Коккелла предлагают свежий взгляд на нерефлексируемые основания привычных философий. Так, этические теории оказываются слишком привязаны к идее исключительности земной жизни. Астробиология дает возможность увидеть жизнь на Земле глазами космоса и поставить под вопрос не только традиционные для биоэтики проблемы ценности жизни, но и правила организации научного исследования. В этом отношении астробиология словно воплощает дух времени, показывая ограничения науки как таковой, о чем в статье «Who Goes There? When Astrobiology Challenges Humans» пишет Жак Арну – историк науки, специалист французского Национального центра космических исследований. Для него возможность открытия внеземной жизни является частью трансформаций науки, которые можно описать как последовательность коперниканской, дарвинистской, фрейдистской и, наконец, астробиологической революций. Все они постепенно лишают человека права на привилегированную позицию в описании мира. Вместе с тем научные революции «профанируют» область сакрального, поддерживаемую религией и важную для восприятия ценностей. Наука, по Арну, разновидность ереси, вторгающаяся в область сакрального, однако функция этого вторжения не деструктивная. Арну ссылается на Роже Кайуа, утверждавшего, что сакральное «требует организации нарушения запретного, пересечения

границ; без этой возможности священное рискует исчезнуть» (p. 91). Смысл вторжения науки в сакральную область, в сферу действия ценностей парадоксален и связан скорее с сохранением пространства сакрального.

Авторы всех статей сборника разделяют представление, что научные исследования, реализуемые как академическими учеными, так и активистами, направлены на заботу о жизни во Вселенной. Исследователь из университета Лундта, Эрик Пирсон, в статье «The Axiological Dimension of Planetary Protection» пытается выделить ценностные основания для планетарной защиты, то есть «предотвращения заражения других миров инвазивными земными микробами в связи с полетами к этим мирам, а также предотвращения заражения земной биоты инвазивными микробами из других миров в связи с миссиями по возвращению образцов» (p. 294–295). В своем анализе Пирсон отталкивается от международного договора, посвященного планетарной защите, представленного Комитетом по космическим исследованиям, резюмируя его следующим образом:

> «1. Знание о том, существует ли или существовала ли жизнь в других мирах, имеет высокую конечную ценность [*end value*].
>
> 2. Подробное изучение этой [внеземной] жизни, если она существует, имеет очень высокую конечную ценность…
>
> 3. Внеземная жизнь на выбранных объектах имеет инструментальную ценность [*instrumental value*] как источник (1) и (2).
>
> 4. Внеземная жизнь не имеет никакой другой ценности, кроме указанной в (3), а если и имеет, то она ничтожно мала по сравнению со всеми другими ценностями, которые могут быть обеспечены теми же ресурсами.
>
> 5. Земная биота имеет очень высокую ценность, которая не может быть поставлена под угрозу» (p. 297).

Пирсон показывает, что принципы, предлагаемые Комитетом, объединяют в себе эпистемическую значимость жизни и ее ценностную оценку. Таким образом, астробиология и астробиоэтика позволяют точнее и полнее раскрывать эту неочевидную связь в научных исследованиях.

Еще один подход к переосмыслению эпистемического и аксиологического представлен в статье Маргарет Раппопорт, Кристофера Корбалли и Конрада Шоцика «Genetics, Ethics, and Mars Colonization: A Special Case of Gene Editing and Population Forces in Space Settlement». В центре их внимания находится проблема моральной оправданности модификаций человека с помощью генетических технологий, запрещенных в большинстве стран. В отношении этого запрета показателен пример китайского ученого Хэ Цзянкуя, осужденного за эксперименты по созданию генномодифицированных детей. Однако, по мнению авторов, перспектива колонизации Марса вносит изменения в оценку генетических технологий (p. 168). Авторы подчеркивают, что нынешние характеристики человека являются результатом его адаптации к условиям жизни на Земле. Возможные в будущем длительные космические перелеты или проживание на других планетах создают предпосылки для более быстрого генетического дрейфа, что послужит причиной появления нового, альтернативного, человечества. Эта проблема будет особенно острой в условиях замкнутой жизни новых космических колоний. Генетические технологии могли бы помочь смягчить наступление негативных последствий или даже изменить направление неизбежных мутаций. Текст Раппопорт, Корбалли и Шоцика представляет собой яркую иллюстрацию «переоценки ценностей», возможной в перспективе научного исследования жизни в космосе.

Такая переоценка во многом определяет развитие астробиологии. Тема морального

и политического субъекта является одной из ведущих для всего сборника. В статье «Who Speaks for Humanity? The Need for a Single Political Voice» профессора Университета Лондона Иена Кроуфорда эта проблематика инкорпорируется в общие вопросы международной политики. Он ищет политические и этические основания для «создания всемирного космического агентства и укрепления системы ООН в контексте космических вопросов» (p. 331). Его размышления завершаются идеей мирового федерального правительства на Земле, чья власть должна была бы распространяться на все возможные колонии, созданные людьми за пределами Земли. Та же проблематика рассматривается и в статье «Astrobiology, the United Nations, and Geopolitics» участника программы НАСА по астробиологической и планетарной защите Линды Биллингс. Она полагает, что перед астробиологией и связанной с ней астроэтикой стоят две принципиальных задачи, имеющих как научное, так и этическое измерение:

> «Астробиологи должны убедиться, что их эксперименты и инструменты не создают риска загрязнения других планетарных тел земной биологией; и внеземная жизнь, если она существует, не загрязняет земную среду» (p. 267).

Риски нарушения этих принципов связаны с активным включением в космические проекты частных компаний, в большей степени готовых на сомнительные и подчас неэтичные действия. Статья Биллинг будто бы артикулирует максиму астроэтики: «Оставьте космос ученым!».

Книга «Astrobiology: Science, Ethics, and Public Policy» представляет собой собрание очень разных текстов, объединенных общей идеей поиска границ астробиологии. В задачи этой рецензии не входит обсуждение ни перспектив открытия жизни за пределами Земли, ни прикладного значения таких исследований. Важнее увидеть, как в астробиологии происходит объединение усилий специалистов, работающих в несхожих парадигмах. Однако говорить о таком союзе как простом суммировании данных, получаемых учеными, работающими в разных научных дисциплинах, было бы большой ошибкой. В поисках общей методологии астробиология испытывает эпистемические и аксиологические основания наук, ставя под вопрос идею исключительности и абсолютной ценности земной жизни. При этом астробиология провозглашает, что научное исследование не является имморальным. Статьи, составляющие рецензируемый сборник, показывают, как наука сама создает те ценности, которые философия традиционно считала естественными. Сложно отказаться от соблазна утверждать, что астробиология не столько открывает жизнь в космосе, сколько возвращает ценность жизни на Земле.

Кирилл Петров

Разум в тумане войны. Наука и технологии на полях сражений

Сьюзан Линди
М.: Альпина Нон-Фикшн. – 390 с.

Социальные исследователи часто обращают внимание на разрывы между декларируемым и делаемым. Например, между тем, как производится научное знание, и тем, как оно подается в публичном поле самими учеными, описали Стив Вулгар и Бруно Латур[7]. Последний регулярно указывал на несоответствие образа глобальной ценностно-нейтральной науки, работающей на благо человечества, действиям от-

7 Latour B., Woolgar S. *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts.* London; Beverly Hills: Sage Publications, 1979.

дельных лабораторий и исследовательских центров, занятых конкурентной борьбой за ресурсы и за доступ к инструментам, позволяющим артикулировать те или иные научные решения и открытия[8]. Латур стремился показать, что каждая отдельная группа ученых не совершает, но производит открытие, создает так называемый «артикуляционный аппарат», позволяющий ученым брать на себя функцию представительства и говорить от лица ранее «безмолвных вещей»[9].

Латуровские проекты демистификации науки специфичны для европейской модели производства знаний, но принципы science & technology studies (STS) могут быть перенесены и в иные контексты – например, к STS в рамках постколониальных исследований не раз обращался антрополог и историк науки Уорик Андерсон[10].

С последним работала Сьюзан Линди[11] – историк и социолог науки из Пенсильванского университета. Ее «Разум в тумане войны» демонстрирует зависимость ученых от военных, заинтересованных в новых разработках, – и тем самым демистифицирует «ценностную нейтральность» научного знания. Линди показывает, как ученые, оправдываясь решением сложных задач, отказываются принимать свою долю ответственности за техногенные катастрофы и военные конфликты. Пафос работы отнюдь не агитационно-обличительный, хотя русскоязычному читателю в 2023 году он может показаться именно таковым. Линди интересны и безмолвие вещей, за которых охотно говорят ученые, и немота ученых, как только они сталкиваются с результатами собственных открытий.

Разномасштабные случаи «сплетения» научных центров и национальных военных комплексов Линди рассматривает, пользуясь хорошо знакомым ей инструментарием STS[12]. Ее прошлая монография была посвящена превращению генетической медицины из «гадкого утенка» современной науки (1950-е) в перспективное и быстро развивающееся направление (1970-е). Особое внимание Линди уделяла тому, кто и как в 1950-е защищал идею генетической обусловленности заболеваний; благодаря каким методам администрирования и каким практикам (policies and practices) ученым, администраторам и бюрократам от здравоохранения удалось придать упомянутой идее «социальную силу»[13].

8 Латур Б. *Наука в действии. Следуя за учеными и инженерами внутри общества.* СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
9 Он же. *Политики природы. Как привить наукам демократию.* М.: Ad Marginem, 2018.
10 Anderson W. *Postcolonial Specters of STS* // East Asian Science, Technology and Society: An International Journal. 2017. № 11. P. 229–233.
11 Anderson W., Lindee M.S. *Pacific Biologies: How Humans Become Genetic* // Historical Studies in the Natural Sciences. 2020. Vol. 50. № 5. P. 483–497.
12 Nelkin D., Lindee M.S. *«Genes Made Me Do It»: The Appeal of Biological Explanations* // Politics and the Life Sciences. 1996. Vol. 15. № 1. P. 95–97.
13 Lindee M.S. *Moments of Truth in Genetic Medicine.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.

От множества других работ, отстаивающих «размещенность» и релятивизм производимого научного знания[14], работу Линди отличают широта взгляда, доступность слога, энциклопедичность материала и академический самоконтроль, не позволяющий автору превратить работу в легковесный журналистский или активистский текст. Легкость изложения, вероятно, одна из причин, по которой именно «Альпина Нон-Фикшн» предлагает русскоязычным читателям эту книгу, которая и не является, и не прикидывается «нонфикшном сезона», призванным поразить публику. Книга явно преследует другие цели.

Прежде, чем обратиться к этим целям, задержимся на названии. Российский перевод – «Разум в тумане войны» – поэтичнее оригинального «Rational Fog» (можно передать как «Туман рациональности»). «Разум в тумане войны» звучит несколько байронически: вот есть какой-то «Ученый», и перед ним «туман войны», который «создает иллюзию преувеличенного объема и причудливых очертаний»[15]. Оригинальное название «Туман рациональности» точнее схватывает намерения Сьюзан Линди. Этот туман – не порождение одинокого разума и не предмет наблюдения «Ученого». Это множество данных и параданных, которые производятся исследовательскими коллективами и на основании которых выносится множество суждений; это коллективные заблуждения и оправдания, которыми пользуются участники «социотехнических комплексов», втянутых в жестокое соревнование национальных военно-промышленных машин.

В своих размышлениях Линди отталкивается от очевидного противоречия: в XX веке ученые, воспитанные на гуманистическом представлении, что наука должна работать на достижение общечеловеческого блага, стали проводниками идеи тотального уничтожения противника – идеи, восходящей еще к трактату Клаузевица. Линди заявляет: «Я исследую “туман научной рациональности”, как [...] люди, обученные стремиться к истине, становились агентами конечного насилия» (с. 27–28), то есть насилия, направляемого в адрес «конечных пользователей» – гражданских лиц, вынужденных столкнуться лицом к лицу с результатом лабораторных разработок. И ее интересует, каким образом комплексы и системы отношений, в которые оказались вписаны профессиональные ученые, лишали их желаемой нейтральности.

«Разум в тумане войны» не линеен; его образуют девять глав, каждая из которых представляет законченный сюжет. Линди начинает с реконструкции идеи орудий массового поражения и истории о том, как индустриализация практически уничтожила понятие «гражданского населения». Затем, на опыте американских и европейских ученых, работавших в Первую и Вторую мировые войны, Линди показывает, как они научались концептуализировать тело человека в качестве объекта поражения. Далее она касается концепции планетарной войны и созависимости войн и экосистем; реконструирует исследования, предшествовавшие бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки (и последовавшие за ними); рассматривает сюжеты об ученых, работавших на военную пропаганду и поддававшихся ей; на материалах периода «холодной войны» рассматривает «скрытый учебный план», которому – впрочем, неохотно – подчинялись ученые, занятые на проектах, связанных с ВПК. Столь разномасштабные сюжеты подчинены единой теоретической рамке и резюмируются выводом, который, будучи прочитан изолированно, звучит как приговор: «любое тех-

14 Harraway D. *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective* // Feminist Studies. 1988. Vol. 14. № 3. P. 575–599.

15 Клаузевиц К. *О войне. Т. I.* М.: Воениздат, 1937. С. 130.

ническое знание становится источником насилия» (с. 331).

Однако приговором он не является. Линди подчеркивает: она не адепт жесткого «экстернализма», она не верит, что контекстом исследовательской работы можно чуть ли не полностью объяснить полученные результаты. Да, ее интересует, как политические и культурные ограничения задают направления научных поисков, как гражданские и военные администраторы через посредство программ приоритетных исследований блокируют одни и навязывают ученым другие пути научно-исследовательской деятельности. Но еще важнее для нее, как ученые переживают конфликт идентичности, решая задачи, которые категорически не согласуются с цеховыми ценностями научного сообщества.

Главный вопрос работы – «Почему мы знаем то, что знаем?» (с. 10). В такой сжатой формулировке вопрос слишком абстрактен. Уточняя его, Линди указывает на парадоксальность знаний, накапливаемых научно-техническим комплексом: «Почему мы знаем точную скорость, при которой пуля дробит кошачью лапу? Почему нам известно именно это, а не что-то другое?» (с. 12). Кто и почему сделал такие факты предметом научного знания, обеспечивая их воспроизводство и архивирование?

Этот вопрос непосредственно касается и специфического конструирования «милитаризованного знания». Ему Линди посвящает несколько глав, уделяя особое внимание условиям, в которых трудились исследователи, разрабатывавшие атомную бомбу. Она также рассматривает случаи переноса гражданских разработок в военную область. Например, в 1940-е ботаник Артур Галстон открыл «морально нейтральный» гербицид; по замыслу Галстона, этот гербицид мог упростить очистку кукурузных початков от листьев и тем самым сэкономить время, затрачиваемое рабочими на кукурузных полях. «Нейтральность» гербицида отменили американские военные, использовавшие его по рекомендации центра Форт-Детрик спустя двадцать лет (с. 136). Гербицидом уничтожали джунгли, в которых укрывалась армия Вьетконга. С тех пор в популярной культуре гербицид известен как «*Agent Orange*» (бочки с ним охватывала оранжевая окантовка), а экосистема Вьетнама страдает от него до сих пор.

Отталкиваясь от этого примера, Линди подчеркивает, что историк науки не может некритически использовать понятия «военный» и «гражданский» и не может допускать, что «военная наука» – это комплекс знаний, отделенный от гражданской науки прочным и непроницаемым барьером. Она показывает, как ученые и научные администраторы выстраивали свои идентичности, сепарируя задачи («здесь я работаю над гражданскими, а здесь над военными задачами») и стараясь отделить интересный для них научный вызов от смертоносного эффекта, который может произвести удачное разрешение этого вызова. Она отмечает, что поколение ученых, выросших между мировыми войнами, «усвоило, что наука является открытой, универсальной и интернациональной; [...] однако в разгар “холодной войны” исследования многих ученых были не открытыми, а секретными, не интернациональными, а националистичными и ведущими не к общему благу, а к созданию сложных технических средств поражения людей». Линди показывает, как отдельные ученые, стремясь остаться «чистенькими» (с. 14), пытались держаться стройного нарратива о ценностном нейтралитете, но этот нарратив оспаривали вышестоящие администраторы, вовсю пользовавшиеся «ценностно нейтральными» наработками ученых.

Реконструируя картины мира ученых, Линди обращается и к их прямой речи, и к тем инструкциям и предписаниям, которым они были вынуждены подчиняться, чтобы продолжать исследовательскую работу.

Так она показывает, что наряду с доступными в открытых архивах предписаниями и протоколами проведения исследований ученые, втянутые в чрево военно-промышленной машины, вынуждены были осваивать «скрытый учебный план» (понятие, введенное Иваном Илличем): учиться сжигать секретные документы, информировать надзорные органы о подозрительной и предположительно подозрительной активности коллег по лаборатории, а также учиться распознавать коммунистов в кругу коллег, учиться не поддаваться «вражеской» пропаганде и по возможности вести себя мужественно.

Мизогиния в «храме науки» – небольшой по объему, но значимый для работы Линди сюжет. Например, она реконструирует несколько историй эпохи гонки ядерных вооружений: физики, унижавшие коллег, которым не удалось создать бомбу, прошедшую испытания, говорили, что «в этой лаборатории делают “девочек”» (с. 315). Физик, моделировавший ядерный удар по Европе, вместо ожидаемого числа потерь равного 35 миллионам человек получил 30 миллионов и расстроился, озвучив ошибку расчетов, после чего неожиданно осознал, о каком показателе он говорит: «В комнате повисла тишина. Все молчали. Они даже не смотрели на меня. Это было ужасно. Я чувствовал себя как женщина» (с. 328).

В каждой главе Линди показывает, что в XX веке экспансия военных в науку так или иначе затронула практически всех ученых. Снимая различие между гражданским и военным, она убедительно демонстрирует, как милитаризация проникает одновременно и в естественные, и в гуманитарные науки. Степень милитаризации различная, но обе, предположительно разные, традиции научной работы были втянуты внутрь ВПК. Эта включенность особенно видна на примере исследований вокруг Хиросимы и Нагасаки, где на разных этапах рукотворной катастрофы в качестве консультантов привлекали физиков, архитекторов, экономистов, антропологов, психологов, так что к анализу трагедии причастны все: «Фасад науки – это элитная физика, химия и инженерное дело (наука атомных бомб и ядерной энергии). Задний двор науки, где подводятся итоги, – это сложная и медленная эпидемиологическая, психологическая и социальная работа с выжившими, а также полевая биология» (с. 193). Отстаивая эту точку зрения, Линди неявно продолжает полемику[16] с эссе физика и писателя Чарльза Сноу «Две культуры», в котором он жаловался на непреодолимый эпистемологический разрыв между гуманитариями и естественниками, усилившийся после окончания Второй мировой войны. Согласно Линди, как раз в годы Второй мировой этот разрыв преодолевался теми, кто заказывал исследования. А вот ученые, занятые «точными науками», были заинтересованы, чтобы этот разрыв не только сохранить, но и усилить, чтобы позволить физикам спокойно разрабатывать бомбу, не отвлекаясь на размышления о том, какую потрясающе сложную и интересную национальную культуру эта бомба может уничтожить или смертельно покалечить.

В предисловии Линди говорит, что военная наука может сильно очаровать читателя – так же, как она очаровывала ученых, работавших над засекреченными проектами. Одна из задач Линди – развеять эти чары. Но в этом деле она прибегает к научным, а не моральным аргументам:

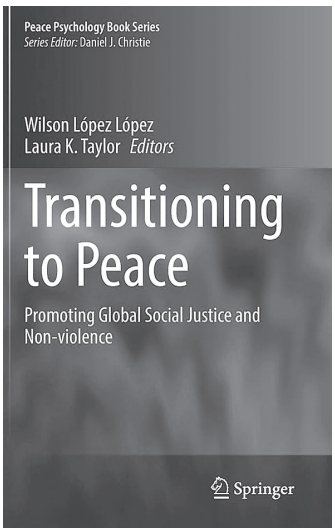
> «В этом повествовании объектом моего внимания является не грань между добром и злом, правым и виноватым, другом и недругом. Меня интересует грань между благоразумием и жестокостью. На анализ именно этой размытой границы нацелен данный проект» (с. 25).

16 См.: Goodman A.H., Heath D., Lindee M.S. (Eds.). *Genetic Nature/Culture: Anthropology and Science beyond the Two-Culture Divide*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2003.

Это ясная и строгая работа, предлагающая читателям несколько детально и теоретически насыщенно описанных примеров созависимости ученых и национальных государств. Тем, кто хорошо знаком с историей науки и работает в поле исследований STS, она вряд ли даст новые инструменты, но предложит несколько интересных сюжетов. Исследователям, которых интересует, насколько зыбка грань между понятиями «гражданский» и «военный», текст Линди определенно будет полезен.

Дмитрий Безуглов

Transitioning to Peace. Promoting Global Social Justice and Non-violence
Wilson López López, Laura Taylor (Eds.)
Cham: Springer, 2021. – 328 p.



«Мир – это процесс, который не имеет завершения», – заявляют авторы этой книги на первых страницах (p. 8). Правосудие переходного периода, которое, по словам Генерального секретаря ООН, представляет собой «весь комплекс процессов и механизмов, связанных с попытками общества преодолеть тяжкое наследие крупномасштабных нарушений законности в прошлом с целью обеспечить подотчетность, справедливость и примирение»[17], стабильно остается предметом пристального внимания историков, социологов, политологов, юристов и психологов. Именно этому явлению посвящен сборник статей, выпущенный одним из ведущих англоязычных научных издательств и объединивший идеи, исследования, наработки ученых Международной сети психологии мира (International Network for Peace Psychology), первоначально представленные на симпозиуме в Боготе в 2019 году.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что проблема примирения с конфликтным, или, как часто говорят, «трудным», прошлым стоит (или стояла) в повестке дня большинства стран мира. К таковым можно отнести общества, пережившие противоправные действия террористических группировок, гражданские войны, революционную смену режима, этнические чистки. Прекращение насильственного противостояния почти никогда не означает наступления мира и согласия по умолчанию, поскольку всякий социум, прошедший через подобное, фактически нужно «собирать» заново, восстанавливая единение или хотя бы сосуществование его членов на обломках разрушенных жизней. Каким образом сформировать такую коллективную память о прошлом, которая устраивала бы всех? Как обеспечить мирную жизнь бок о бок для тех, кто еще вчера воевал друг с другом? Что нужно рассказать последующим поколениям о произошедших трагедиях, чтобы они не повторили ошибок прошлого? Это лишь некоторые из вопросов, привле-

17 Совет Безопасности ООН. *Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах. Доклад Генерального секретаря, 23 августа 2004, S/2004/616* (https://undocs.org/ru/S/2004/616).

кающих исследователей правосудия переходного периода – и нашедших отражение в этой книге.

Сборник состоит из четырех тематических разделов, главы каждого из которых представляют собой самостоятельные исследования, объединенные общей идеей. В первом разделе рассматриваются кейсы, иллюстрирующие применение правосудия переходного периода в разных странах. Хотя перечень его механизмов в целом можно считать устоявшимся – в их число входят, например, комиссии по установлению истины, репарации, амнистии, – их применение весьма сильно различается в каждой отдельной ситуации. В центре подобных практик оказывается неочевидная, на первый взгляд, проблема наказания. По-видимому, все авторы книги разделяют мнение о том, что примирение, в том числе и в политическом его аспекте, основывается на христианской традиции нравственного очищения, в основе которой лежит неразрывная связка покаяния и прощения. В связи с этим декан факультета психологии Университета Альберто Уртадо (Сантьяго, Чили) Элизабет Лира отмечает, что ситуации, в которых власти отказываются взять на себя ответственность за совершенное насилие и/или наказать виновных, представляют собой серьезнейший вызов для процесса общественного примирения (p. 15).

Негативные примеры такого рода во множестве представляют страны Латинской Америки, где переход к гражданскому миру зачастую начинался с принятия законов, нарочито не предусматривавших наказания кого-либо из участников конфликта, из-за чего транзит к мирной жизни сталкивался с большими трудностями. Если опираться на их негативный опыт, то необходимость разделить социум на жертв и агрессоров, а также признать особый статус первых и наказать вторых, предстает политико-правовым императивом. У этой темы, однако, есть и оборотная сторона, о которой рассуждает группа специалистов из университетов Нидерландов, Испании и Польши: во многих конфликтах сложно провести однозначную сортировку участников на «жертв» и «агрессоров» – такие роли, как правило, переплетены и взаимозаменяемы (глава 6 «Коллективная память в Стране Басков: взаимосвязь между толкованием роли жертвы и преступника»). Более того, подобная бинарность, основывающаяся на черно-белом восприятии мира, может усложнить процессы пацификации в отдельно взятом сообществе. В качестве примера в книге приводится баскский конфликт, где наличествуют как жертвы, претерпевшие от рук террористов, так и жертвы-террористы, пострадавшие от действий провластных военизированных группировок или официальных силовых структур. Анализируя различные комбинации «жертва – агрессор», исследователи призывают отказаться от этой бинарной сегрегации, предлагая, вместо нее, концепцию «инклюзивного статуса жертвы» (*inclusive victimhood*). В ее основе лежит признание факта, что противник тоже страдал и может считаться жертвой (там же).

Другим популярным инструментом правосудия переходного периода являются так называемые комиссии правды (комиссии по установлению истины и примирению). На их заседаниях бывшие участники конфликта представляют свое видение произошедшего, подкрепляемое личными свидетельствами. Как отмечает межуниверситетская исследовательская группа – на этот раз из Испании, Перу и Бельгии, – участие в работе таких комиссий помогает жертвам удовлетворить целый ряд важнейших потребностей: в безопасности, самоутверждении, восстановлении достоинства и самоуважения, а также общественном признании собственных страданий (глава 3 «Комиссии правды: эффекты для общества и индиви-

да», p. 30). Вместе с тем, ссылаясь на опыт работы комиссий правды в Руанде, Южной Африке, бывшей Югославии, Латинской Америке, авторы показывают, что эффект от их деятельности далеко не однозначен. С одной стороны, такой механизм действительно позволяет установить коллективную «истину» и сформировать общее отношение к травматичному прошлому, а это, бесспорно, способствует достижению одной из основных целей – сплочению социума после коллективной травмы. Однако, с другой стороны, его работа сопровождается негативными эффектами психологического свойства, выливающимися в социальные и политические издержки. В ряду последних – риск повторной травматизации при воспроизведении пережитых событий, а также несоответствие полученного результата ожиданиям жертв. Их совокупным итогом может стать нечто противоположное консолидации, а именно углубление условного раскола на все тех же «жертв» и «агрессоров».

Второй и третий разделы фокусируются на вкладе, который отдельные гуманитарные науки, включая, например, психологию и социологию, способны внести в процессы созидания мира. На примерах стран Латинской Америки и Африки авторы показывают, какими путями и способами индивиды и сообщества способны запускать переход к миру. Особое внимание уделяется случаям, когда собственные программы умиротворения разрабатываются и осуществляются местными сообществами – причем иногда даже вопреки трендам, доминирующим на общенациональном уровне. Базовой единицей анализа здесь выступает группа: тексты многих авторов сосредоточены на том, как межгрупповое взаимодействие утверждает и поддерживает культуру мира, а также обеспечивает дестигматизацию и дерадикализацию некоторых групп, переквалифицируя прежних агрессоров в легитимные политические общности, заинтересованные в диалоге. Авторы статей подчеркивают, что подобные процессы никогда не даются обществам легко. Так, группа, состоящая из чилийских и австралийских исследователей, на примере Чили показывает, что даже относительно мирная смена режима сама по себе не снимает тех вопросов, которые неизбежно возникают после прекращения насилия. При этом, по мнению этих ученых, переход к новому состоянию общества может обходиться слишком дорого, если необходимые социальные изменения не происходят с нужной скоростью (глава 8 «Переходный период в Чили: достижения, недостатки и последствия для демократии»). Наконец, авторы обращают внимание и на комплексный характер проблем, переживаемых обществами, пытающимися обрести примиряющие нарративы. Профессор Иммакуле Мукашема из Университета Руанды, в частности, пишет:

> «Примирение, заживление психологических ран и экономическое развитие или решение сиюминутных материальных проблем настолько взаимозависимы, что, если вы стремитесь справиться с одной из этих проблем, вам обязательно придется заняться и другими» (глава 11 «Роль местных ассоциаций выживших и бывших узников в процессе примирения в Руанде: кейс группы “Amataba y’Abunzubumwe”», p. 208).

Четвертый раздел принципиально отличается от предыдущих, так как посвящен будущему. Авторы вошедших в него статей пытаются разобраться в том, какой вклад в преодоление последствий постконфликтных ситуаций могут вносить образование и воспитание. Одна из методологических проблем, возникающих в этой связи, состоит в том, что правосудие переходного периода обычно фокусируется на работе с отдельными группами молодежи, ранжируемыми согласно сортировке акторов конфликта («жертвы», «агрессоры», «террористы»), однако они практически никогда не охваты-

вают молодежь целиком. Другой проблемой является противопоставление молодежи как, с одной стороны, потребителей, а с другой стороны, создателей продуктов коллективной памяти. Следуя общей логике исследования, группа ученых из университетов Германии, Великобритании, Косово, Израиля, Хорватии, Северной Македонии и Исландии предпринимает кросс-культурное исследование, нацеленное на выявление универсальных поведенческих моделей детей и молодежи, реализуемых при переходе к миру (глава 16 «Помогая детям: кросс-культурное исследование социальных установок детей в обществах, переходящих к миру»). Как и следовало ожидать, заметное место в разделе отводится специальным педагогическим практикам, используемым для формирования общего восприятия конфликтного прошлого молодыми людьми – среди них, в частности, выделяются исторические ролевые игры. Наконец, по мнению авторов, в работе с юношеством и детьми важно растолковывать само понятие «мир», так как этим возрастным группам термин может казаться абстракцией, никак не связанной с их повседневностью.

Одно из главных достоинств монографии – многообразие конкретных кейсов и прикладных сюжетов, не создающее, впрочем, ощущения дискретности материала. Разнообразие подходов «сшивает» в целое общие выводы. Как правило, изучение какой-то проблемы на стыке различных отраслей знания оказывается особенно плодотворным – рецензируемая книга в полной мере подтверждает это. И, наконец, главное: нет никакого сомнения в том, что все поднимаемые авторами темы важны и в российском контексте.

Юлия Фролова, старший преподаватель кафедры политологии РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Манхэттенский проект. Теория города
Дэвид Кишик
М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. – 280 с.

В 1927 году Вальтер Беньямин совместно со своим другом Францем Хесселем задумал написать статью о парижских пассажах. Замысел так и не был реализован, но в процессе работы Беньямин загорелся идеей исследования повседневной жизни и культуры Парижа середины XIX века – города, который виделся ему колыбелью современного капитализма. Вплоть до своей трагической гибели в сентябре 1940 года он собирал материалы и работал над планом будущего исследования. Как отмечают Ховард Айленд и Майкл Дженнингс, проект быстро перерос первоначальные замыслы и стал «играть роль *magnum opus* и реального интеллектуального источника последних лет его жизни – непрерывно разраставшегося философско-исторического исследования, с которым [связаны] большинство… крупных и небольших работ [Беньямина] 1927–1940 гг.»[18]. Текст, ставший в итоге известным под названи-

18 Айленд Х., Дженнингс М. *Вальтер Беньямин. Критическая жизнь.* М.: Дело, 2018. С. 298.

ем «Passagen-Werk» в оригинале – или «Arcades Project» в английском переводе, – представляет собой многочисленные выписки из источников на французском и немецком языке, дополненные краткими комментариями Беньямина, а также несколько написанных в разные годы синопсисов. Иными словами, перед нами даже не черновик исследования, а лишь подготовительные материалы, пускай тщательно структурированные автором и разбитые по тематическим папкам. Сьюзен Бак-Морс замечает, что как таковой работы о пассажах просто не существует: «Мы в буквальном смысле слова имеем дело с пустотой»[19]. Впрочем, это не помешало «Пассажам» привлечь к себе широкое внимание как специалистов, так и широкой публики после выхода сначала немецкого (1982), а потом и английского (1999) издания. Сейчас этот колоссальный труд считается одним из важнейших произведений Беньямина – даже несмотря на то, что среди обладателей тысячестраничного тома вряд ли найдется много тех, кто прочитал его от корки до корки.

«Манхэттенский проект» Джона Кишика основан на допущении, что в сентябре 1940 года Вальтер Беньямин не покончил с собой в Портбоу, а инсценировал собственную смерть. Затем он якобы успешно пересек франко-испанскую границу и добрался до Лиссабона, где сел на корабль, следующий в Нью-Йорк. (Допущение не столь уж невероятное с учетом того, что в последние годы жизни Беньямин серьезно размышлял о переезде в США, где к тому времени оказались многие его коллеги по Институту социальных исследований, и в итоге стараниями Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера даже получил американскую визу.) Следующие сорок с лишним лет «Беньямин»[20] прожил в Нью-Йорке под именем Чарльза Россмана и работал над исследованием о Манхэттене, которое одновременно должно было стать продолжением и развитием его парижских «Пассажей». В этой альтернативной вселенной Беньямин-Россман скончался в ноябре 1987 года в возрасте 95 лет. После его смерти рукопись того, что должно было стать «Манхэттенским проектом», оказалась в Публичной библиотеке Нью-Йорка, где ее и «обнаружил» Кишик. Осознав, что перед ним неизвестная работа знаменитого немецкого философа, он решил разобраться «в сотнях отдельных неподшитых страниц, заполненных миниатюрными рукописными буквами на несколько неправильном английском». По словам автора, получившаяся в итоге книга представляет собой «работу по чисто текстовой интерпретации; другими словами, это… не репродукция “Манхэттенского проекта”, а его анализ» (с. 14). В определенном смысле Кишик делает по отношению к вымышленному тексту «Беньямина» то же самое, что Сьюзен Бак-Морс сделала по отношению к «Пассажам» в своем новаторском исследовании 1989 года «Диалектика видения: Вальтер Беньямин и проект “Пассажей”»[21], а именно предпринимает попытку концептуализировать основные положения так никогда и не написанной работы и продемонстрировать читателям философские основания проекта. В «Манхэттенском проекте» он в основном просто пересказывает и комментирует рукопись «Беньямина», но иногда словно забывает о существовании первоисточника и начинает излагать собственный анализ недавнего прошлого и настоящего Нью-Йорка. Это обстоятельство,

19 Buck-Morss S. *Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and Arcades Project*. Cambridge; London: The MIT Press, 1989. P. 47.

20 Чтобы отличить Беньямина как реальную историческую фигуру от Беньямина – вымышленного персонажа книги Кишика, во втором случае я буду брать фамилию философа в кавычки.

21 Ibid. P. 57.

пишет Кишик, «определенно поднимает… вопрос: чей голос мы слышим в этом тексте? Слышим ли мы его [Беньямина] голос, или это мой голос, или один из многочисленных источников, цитируемых кем-то из нас?» (с. 14).

В допущении Кишика о чудесном спасении Беньямина из Портбоу есть один интересный момент: перебравшись на другую сторону Атлантики, философ решил жить под чужим именем и не выходить на связь с безутешными друзьями (Адорно, Хоркхаймером, Брехтом, Кракауэром и другими), к тому моменту тоже находившимися в США. Предположу, что такое авторское решение продиктовано как минимум двумя соображениями. Во-первых, Кишик стремился минимизировать «эффект бабочки», знакомый всем любителям научно-фантастических книг и фильмов про путешествие во времени: одно небольшое вмешательство в прошлое может изменить весь ход истории. Если мы предположим, что Беньямин счастливо прожил в Нью-Йорке до 1987 года, продолжая свои исследования, то оказываемся на развилке: нам либо нужно вообразить себе совершенно иную интеллектуальную историю второй половины XX века (в которой Беньямин пишет свой аналог «Диалектики просвещения» и развивает критическую теорию вместе с коллегами по Франкфуртской школе или, наоборот, порывает с ними), либо допустить, что философ по какой-то причине не оказал на нее никакого влияния. Очевидно, что второй вариант требует гораздо меньших усилий со стороны автора и экономит время читателей, – неудивительно, что Кишик выбирает именно его, придумывая столь причудливую мотивировку. Во-вторых, делая Беньямина анонимным затворником, проводящим все свободное время в читальном зале нью-йоркской Публичной библиотеки, Кишик изолирует его от внешней среды и ограждает от ее воздействия, позволяя ему остаться тем старым добрым Беньямином, к которому мы привыкли. Впрочем, стоит отдать Кишику должное: как мы увидим далее, он все же предпринимает несколько попыток представить, какие метаморфозы претерпел бы философ и его теоретические построения при соприкосновении с атмосферой послевоенного Нью-Йорка.

В «Манхэттенском проекте» почти отсутствуют цитаты из рукописи «Беньямина». По словам Кишика, причиной тому стал продолжающийся спор об авторских правах между берлинским архивом философа и нью-йоркской Публичной библиотекой. Ход вполне объяснимый: попытка имитировать стиль Беньямина заведомо обречена на провал. Но кое-где Кишик идет на хитрость и приводит цитаты из работы о пассажах, заменяя в них «Париж» на «Нью-Йорк». С концептуальной точки зрения такое решение кажется странным. Кишик словно отказывает вымышленному «Беньямину» в возможности интеллектуального развития, заставляя его повторять собственные мысли тридцатилетней давности. Кроме того, подобные прыжки во времени нивелируют разницу контекстов, что явно не вяжется с идеей работы о пассажах, задуманной Беньямином не как исследование мегаполисов вообще, но как попытки разобраться в истоках той исторической ситуации, в которой оказались западные капиталистические общества в первой половине XX века.

Кишик изображает предположительный диалог «Беньямина» с важнейшими философами (Ханна Арендт), теоретиками культуры (Маршалл Берман), урбанистами (Джейн Джейкобс), художниками (Энди Уорхол), режиссерами (Вуди Аллен) и фотографами (Диана Арбус) второй половины XX века, каждый из которых так или иначе размышлял о городе и городском пространстве. «Манхэттенский проект» состоит из шести частей, организованных вокруг трех концептуальных пар:

реальность–фантазия, политика–экономика, рай–ад.

> «Они функционируют как оси пространства трех измерений, в котором можно найти место каждому элементу, являющемуся частью любого большого города. Тем не менее нет необходимости рассматривать эти концептуальные оси как непреложные истины – только как прагматические. Они существуют и работают только потому и до тех пор, пока позволяют нам придать какой-то смысл хаотичному и фрагментарному урбанистическому хеппенингу» (с. 45).

Бинарные оппозиции, структурирующие «Манхэттенский проект», на этом не заканчиваются. Например, в третьей части книги Кишик рассказывает о противопоставлении двух видов логики, государственной и городской, занимающем важное место в теоретических построениях «Беньямина». Согласно Гегелю, государство является институционализированным воплощением универсального разума и единственной силой, «способной контролировать эгоистическую жизнь (городского) гражданского общества, где частные лица движутся только экономическими, а не политическими силами». «Беньямин» ставит под сомнение гегелевскую веру в суверенное государство. По его мнению, «лучший способ воспитать чувство человеческой общности в большой группе очень разных людей – заставить их пожить какое-то время в городе» (с. 111–112). Философ находит в мегаполисе зачатки новой, более прогрессивной, модели человеческого общежития, но он далек от идеализации городской жизни. Принимая в расчет то обстоятельство, что города играют роль центров эксплуатации трудящихся, он считает возможным разорвать связь между городами и капитализмом – более того, указывает, что решающий бой угнетенных и угнетателей должен произойти именно на улицах мегаполисов:

> «Поскольку Беньямин знает, что “города – это поля сражений”, любое другое место может быть лишь местом для временного отступления. Какая бы революционная идея или практика ни возникла, она должна будет бороться за свое место в границах агонии городского пространства» (с. 104–105).

Вера «Беньямина» в потенциал мегаполиса связана с концепцией абсолютной жизни, центральной для всего «Манхэттенского проекта». Она встречается в исследовании о пассажах, где реальный Беньямин, цитируя Гуго фон Гофмансталя, утверждает, что для фланера город – это «пейзаж, построенный из абсолютной жизни»[22]. Эта туманная, как часто бывает у Беньямина, концепция не получает дальнейшего развития в исследовании. Тем лучше для Кишика, у которого появляется возможность наполнить ее необходимым ему содержанием. Абсолютная жизнь противопоставляется в «Манхэттенском проекте» голой жизни – термину, впервые встречающемуся в одном из ранних беньяминовских эссе и впоследствии получившему новое осмысление в работах Джорджо Агамбена. Голая жизнь – это существование, низведенное до простейших биологических импульсов и потребностей. Если первая концепция используется «Беньямином» применительно к Нью-Йорку, то вторую он привлекает для описания «мест, почти не поддающихся описанию», а именно нацистских лагерей смерти: «Освенцим, – пишет он на одной из самых важных страниц во всей рукописи, – это земля оголенных жизней. Нью-Йорк, – продолжает он без паузы, – это пейзаж, построенный из абсолютной жизни» (с. 38).

Стоит ли говорить, что такое сопоставление крайне проблематично с этической

22 Benjamin W. *The Arcades Project*. Cambridge: Belknap Press, 1999. P. 417.

точки зрения: реальный, а не вымышленный Беньямин пал жертвой нацистских преследований, его брат Георг погиб в концлагере Маутхаузен. Однако, принимая это обстоятельство во внимание, все же проследим, каким образом «Беньямин» развивает свой аргумент. Хотя города и возникли для удовлетворения базовых человеческих потребностей, они существуют «преимущественно для того, чтобы жить счастливо». Благодаря самой своей организации, многообразию социальных групп и институтов, города способствуют производству «различных форм жизни»; в концлагерях же, напротив, все многообразие и сложность человеческого существования уничтожаются. Чтобы объяснить «беньяминовскую» концепцию абсолютной жизни, Кишик совершает экскурс в историю фотографии. В ранней фотографии время экспозиции было очень долгим, из-за чего запечатлеть удавалось только статичные объекты: дома, бульвары, деревья и так далее.

> «[Но что бы мы увидели,] если бы технически возможно было сделать фотоснимок, который стирал бы все статичное, но фиксировал все, что движется в определенный момент? Представьте себе фотографию оживленного перекрестка в Нью-Йорке – без зданий, без магазинов, без припаркованных машин, без тротуаров, вывесок и пожарных гидрантов: просто пустое пространство, усеянное пешеходами, собаками, велосипедистами и машинами, голубями и крысами, все это словно зависло в пустоте. Это, утверждает ["Беньямин"], и был бы истинный образ города; это был бы пейзаж, построенный из абсолютной жизни» (с. 41).

Иначе говоря, перед нами старая мысль о том, что город – это люди, а не стены, только изложенная сложным языком.

Беньямин планировал структурировать исследование о пассажах вокруг ключевых парижских тем (мода, скука, фотография), мест (баррикады, улицы, универсальные магазины), типажей (фланер, поэт, проститутка) и персоналий (Бодлер, барон Осман, Бланки). В «Манхэттенском проекте» Кишик пытается представить, какую концептуальную сетку мог бы избрать Беньямин для анализа Нью-Йорка второй половины XX века. В некоторых случаях он находит прямые аналогии. Например, Кишик сравнивает барона Османа, ответственного за масштабную реконструкцию Парижа в середине XIX века, с Робертом Мозесом, печально известным планами превратить Нью-Йорк в город автомобилистов и разрушившим центр Бронкса ради строительства огромной автострады[23]. Но чаще Кишик обращает внимание не на сходства, а на различия. Так, он пишет о том, что в Нью-Йорке 1950–1970-х на смену фланеру, ключевому беньяминовскому типажу, проходит бездомный. В отличие от фланера, праздно гуляющего по улицам и глазеющего на прохожих, бездомный предпочитает сидеть или лежать:

> «Это выглядит так, как будто в фигуре бездомного постоянное движение фланера как бы останавливается. Сам город замирает. Таким образом, бездомный человек, утверждает Беньямин, это исчерпавший свои силы фланер» (с. 210).

Кишик пишет, что для «Беньямина» бездомный представляет собой «историческую фигуру, требующую теоретического осмысления». Он сравнивает положение бездомных в больших городах с положением беженцев, лишившихся дома из-за войн и гонений со стороны государства. Но если в первом случае логика исключения экономическая, то во втором – политическая:

23 Первым эту параллель провел сам Мозес. См. об этом: Берман М. *Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности*. М.: Горизонталь, 2020. С. 192.

> «Беженец является политическим бездомным, потому что у него нет родины или нет доступа к ней. Лагерь беженцев – это пространство, предназначенное для содержания тех аномалий, которые не соответствуют определению человека как *homo politicus*, принятому в западной традиции, точно так же, как приют для бездомных – это место, предназначенное для контроля тех социальных аберраций, которые не соответствуют определению человека как *homo economicus*» (с. 207).

Кишик называет бездомного главным героем «Манхэттенского проекта»:

> «Обитатели улиц демонстрируют счастливым обладателям крыши над головой самый радикальный пример “иной жизни”, не в смысле жизни, к которой нужно стремиться или от которой следует дистанцироваться, а в смысле жизни, которая просто отличается от той, которую мы иначе бездумно, тщеславно принимали бы как должное. […] Бездомный – это часовой, который следит за абсолютной глубиной абсолютной жизни» (с. 213).

Далее размышления Кишика о бездомности все дальше уходят от социологического анализа и принимают все более экзистенциальный характер – так, он цитирует датированное 1947 годом высказывание Мартина Хайдеггера о том, что «бездомность становится судьбой мира». Получается, что роль бездомных как раз и заключается в том, чтобы напоминать нам об этом фундаментальном свойстве жизни в эпоху (пост)модерна. Проблема в том, что Кишик смешивает философскую метафору и социальное явление. Исторический контекст размывается: мы ничего не узнаем о том, почему бездомность стала столь острой проблемой в Нью-Йорке во второй половине XX века – а бездомные превращаются в квазиестественный атрибут современных городов. Стоит заметить, что такой подход максимально далек от того, которого придерживался сам Беньямин в работе о пассажах и связанных с ней эссе, где фланер – это типаж, укорененный в конкретных исторических условиях[24].

При всех недостатках экспериментальная работа Кишика интересна как минимум в качестве метакомментария к судьбе многих беньяминовских текстов (не только «Пассажей», но и «Центрального парка», «О понятии истории» и многих других), которые дошли до нас в незавершенном виде и во многом именно по этой причине стали предметом многочисленных, зачастую взаимоисключающих интерпретаций. Ховард Айленд и Майкл Дженнингс пишут, что жизнь и творчество философа дают столь богатый и многообразный материал, что из него можно слепить сразу несколько Беньяминов:

> «Рядом с неогегельянцем Франкфуртской школы, неспособным решиться на политические действия, выросла фигура огнедышащего коммуниста; еврейский мистик мессианского толка вступил в неловкое противостояние с ассимилированным евреем-космополитом, завороженным христианской теологией; литературный деконструктивист *avant la lettre*, заблудившийся в зеркальном зале, который мы зовем языком, сосуществовал рядом с социальным теоретиком, провозглашавшим тотальное обновление механизмов чувственного восприятия посредством реформы современных СМИ»[25].

24 «Фланер – праздношатающаяся личность, в этом его протест против разделения труда, обращающего людей в специалистов. Точно так же протестует он и против их деловитости. Году в 1840-м хорошим тоном считалось выгуливать черепах в пассажах. Темп, заданный черепахой, вполне подходил фланеру. Будь его воля, то и прогрессу пришлось бы освоить черепаший шаг. Однако последнее слово осталось не за ним, а за Тейлором, провозгласившим лозунг “долой фланерство”» (Беньямин В. *Париж времен второй империи у Бодлера* // Он же. *Бодлер*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 58).

25 Айленд Х., Дженнингс М. *Указ. соч.* С. 700–701.

Кишик доводит эту возможность до логического предела, выдумывая собственного, нью-йоркского, «Беньямина» и проблематизируя зыбкие границы между текстом и комментарием к нему, цитатой и заимствованием, подражанием и пародией. Каким бы радикальным или сомнительным ни казался нам его замысел, он лишний раз напоминает о том, что мыслители живы до тех пор, пока их идеи провоцируют споры и порождают новые толкования.

Константин Митрошенков